

ДЕВЯТАЯ

Колымский роман



АНТОН АБРАМОВ



АНТОН АБРАМОВ

Девятая

«Автор»

2026

Абрамов А.

Девятая / А. Абрамов — «Автор», 2026

Колыма, 1949 год. В лагпункте Берлага находят девять отрубленных голов, расставленных у периметра лицами к зоне. Снег вокруг чист. Следов нет. Начальство требует простой версии: блатная расправа, лагерная война, дело закрыть без шума. Капитан МГБ Александр Корешов приезжает на Развилку как оформитель чужого вывода, но первая же улика ломает готовую версию. Погибшие не были уголовниками. Все они числились в медицинской группе Н-4, где начальник санчасти Двинятин изучал предел человеческой выносливости: холод, голод, бессонницу, стимуляторы и способность умирающего человека ещё выполнять команду. Комиссия из Магадана уже в пути. Через несколько дней участок законсервируют. Корешов успевает собрать страшную рациональную цепочку: восемь смертей совершили люди, но девятая голова не входит ни в одну версию. Она принадлежит старому звенку Аяну, последнее слово которого связано с нижним миром и оказалось старше лагеря. Восемь голов объясняются. Девятая остается смотреть из темноты.

© Абрамов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Отвар	5
Глава 1. Завоз	10
Глава 2. Чистый снег	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Антон Абрамов

Девятая

Пролог. Отвар

В марте тысяча девятьсот тридцать третьего года бухта Нагаева лежала под низким небом, в котором дневной свет держался мутной серебряной прослойкой между сопками и тяжёлыми облаками, а вода у причала казалась чёрной от угольной пыли, мазута и теней, падавших от пароходных бортов. На берегу шёл северный завоз: из трюмов вытягивали ящики с железом, мешки с мукой, соль, керосин, бочки, пилы, марлю, спирт, стеклянные банки, печные колосники, бумагу для отчётов; рядом, за цепью конвоя, стоял этап, и люди в чужих шинелях, армейских обносках, рваных ватниках, валенках с обмотками и шапках разного размера ждали своей очереди на пересчёт с тем оцепенением, которое у дороги к лагерю принимают за покорность.

Портовый грохот с рассвета придавал городку не городской, а хозяйственный вид: здесь ставили склады раньше домов, конторы раньше улиц, бараки раньше площадей, и всякое движение, от крика грузчика до скрипа саней у ворот, подчинялось одному порядку, в котором человек проходил рядом с ящиком, мешком и лошадью, получая собственную строку в ведомости. От моря тянуло солью, дымом, рыбой, угольной гарью и холодным железом; у кухни, где с утра кипела баланда для этапных, воздух становился плотнее, а возле больничного барака к этим портовым запахам примешивались карболка, печная зола, кровь из распухших дёсен и смоляная горечь кедрового стланика.

Больничный барак Санитарного отдела Дальстроя стоял чуть выше складов, боком к ветру, с крыльцом из тёмных досок и двумя узкими окнами, затянутыми белыми узорами инея. Внутри тянулись два ряда коек, хотя людей давно клали сверх счёта: на полу лежали доски, поверх них бросили тюфяки со стружкой, у печи сидели те, кто ещё мог сидеть, а у дальней стены, где дольше держалась стылая тень, лежали больные с серыми лицами, раскрытыми губами и глазами, в которых боль уже уступала место усталому безразличию. У одного человека чернели дёсны, у другого лопалась кожа на ногах, у третьего шатались зубы, четвёртый терял способность проглотить воду, и фельдшер ставил напротив фамилии короткую отметку, от которой зависела пайка, место у печи, попытка лечения или перенос в сарай за перевязочной.

Яков Яковлевич Пуллериц, заведующий Санитарным отделом, вошёл в барак около восьми утра, когда ночной обход уже снял с коек двух умерших и вынес за дверь ведро с кровью, гноем и тёплой водой после обмывания. Он был сухощав, подтянут, с ранней седinou в бороде и усталыми веками, какие появляются у врача, привыкшего спать при лампе и просыпаться от чужого кашля; поверх гимнастёрки на нём был старый белый халат, перетянутый ремнём, на плечи наброшена суконная шинель, а сапоги, тщательно вытертые у порога, всё равно внесли на пол крупинки грязного снега. Он держался прямо, но в движениях виднелась сдержанная раздражённость человека, которому приходилось лечить болезнь, последствия недоедания, начальственные требования, нехватку продуктов и северный климат одной парой рук, понимая, что поражение в любом из этих боёв будет записано в разные графы.

У печи ждал фельдшер Лев Берман, худой, широколобый, в вылинявшей гимнастёрке и застиранном халате с короткими рукавами, из-под которых торчали красные от холода кисти. На носу у него сидели круглые очки с трещиной в правом стекле; он всё время поправлял их костяшкой пальца, оставляя на оправе серые следы карандаша, поскольку чернила в этом бараке густели за час и в тетради приходилось писать мягким графитом. За его спиной сани-

тарка Анисья Голубева, широкая женщина в платке, холщовом переднике и валенках, разливала из котла зелёный настой по жестяным кружкам; лицо у неё было красное от жара, на руках проступали ожоги, но кружки она подавала больным осторожно, с неожиданной для её тяжёлой фигуры нежностью.

— Сколько за ночь? — спросил Пуллериц, снимая рукавицы.

— Двое умерли до рассвета, один без сознания, у семерых жар, у четверых кровотечение из дёсен усилилось, — ответил Берман, раскрывая тетрадь на странице, где между строчками теснились цифры, крестики, фамилии и номера. — Стланик удержали пятнадцать человек; трое вырвали сразу, двое после второй кружки.

Пуллериц прошёл вдоль коек, наклоняясь к каждому с привычной бережливостью жеста, ибо в больничном бараке лишнее движение забирало время у следующего. На третьей койке у двери лежал молодой забойщик, записанный под фамилией «Антонов», хотя ещё вчера другой санитар уверял, что фамилия его Антипов; лицо у него было скошено голодом, скулы выступали острыми углами, губы растрескались, а на груди, поверх бушлата, висела фанерная бирка с номером партии.

— Как зовут? — обратился к нему Пуллериц.

Больной шевельнул губами, попытался поднять руку к горлу и уронил её на тюфяк.

— Антон, — разобрала Анисья, склонившись ближе. — Фамилию он вчера забыл.

Доктор взял у Бермана карандаш и записал на краю страницы: «Антон. Фамилию уточнить». Эта маленькая приписка имела для него значение, несоизмеренное пользе: в здешнем порядке имя в тетради значило меньше номера, но пока оно оставалось рядом с больным, человек сохранял остаток собственного очертания, и Пуллериц цеплялся за такие остатки с упрямством, которое сам считал профессиональной привычкой.

У печи стланиковый отвар темнел в котле; в воде плавали иглы, мелкие ветки, куски коры, зелёная труха, принесённая с сопок эвенками и местными проводниками, получившими за мешки муку, табак и несколько жестяных банок. Смоляной вкус настоя был жёстким, горьким, цеплялся за язык, вызывал тошноту у слабых, но после первых дней раздачи у части больных уменьшалось кровотечение, возвращалась способность сидеть, а у самых крепких появлялась возможность сделать несколько шагов без поддержки. Врач понимал, что нашёл временное, суровое средство, добытое из бедной земли и принесённое в барак вместе с чужим знанием, которое управление готово было принять под видом санитарной инициативы, если результат попадёт в отчёт.

Накануне вечером стланик привёз старый эвенк по имени Мэргэ, низкий, жилистый, с лицом, иссечённым ветром, в оленьей кухлянке, меховых унтах и высокой шапке, которую он снял только у дверей перевязочной. При нём был мальчик лет двенадцати с узкими глазами, запавшими от голода щеками и настороженным взглядом, слишком взрослым для детского лица. Мэргэ вытряхнул из мешка ветви на брезент, долго смотрел, как Анисья перебирает их руками, затем произнёс несколько фраз переводчику, стоявшему у дверей.

— Он говорит, стланик срезали с просьбой, — перевёл тот, пожимая плечами, стесняясь перед врачом за чужие слова. — Землю надо благодарить. И ветки варить до темноты нельзя, если умерший в доме.

Берман усмехнулся в тетрадь, а Пуллериц промолчал; врач давно понял, что на Севере знание приходит в одежде, к которой городской человек относится с презрением, а спасает чаще любого циркуляра. Он распорядился выдать Мэргэ муку и табак, записал в тетрадь способ приготовления со слов переводчика, а когда старик уходил, заметил, как тот, проходя мимо барака, задержал взгляд на окнах и медленно прикоснулся к своей шапке.

Теперь, утром, когда котёл снова закипал, Пуллериц наблюдал за больными и пытался мысленно отделить тех, кого ещё можно вернуть к движению, от тех, кому оставалось облегчить боль и дать умереть в тепле. Слово «вернуть» раздражало его собственной надеждой,

поскольку в этом краю возвращение чаще всего означало выход за ворота больничного барака под команду нарядчика. Врач спасал человека от цинги, а начальство сразу спрашивало, сколько рабочих единиц он тем самым отдал участку.

К полудню, когда в окнах стало светлее и над печью повис пар от второго котла, в барак вошёл начальник горных работ Илья Фёдорович Аверин. Он был плотный, широкоплечий, с мясистым лицом и короткой чёрной щетиной, в овчинном полушубке, стянутом ремнём, в галифе, заправленных в тяжёлые сапоги, и в папахе, которую снял у порога, показав прилизанные потемневшие волосы. В руках он держал папку с нарядами, в которую были вложены листы с жирными следами пальцев, и от всей его фигуры исходила хозяйственная торопливость человека, привыкшего мерить день кубометрами породы, метрами штрека, числом вышедших на развод и количеством тех, кого к вечеру придётся заменить.

— Доктор, сколько поднимете к завтрашнему разводу? — спросил Аверин, остановившись у печи, где Анисья прикрыла котёл крышкой и на миг перестала разливать отвар.

Пуллериц посмотрел на его сапоги, на снег, таявший возле подошв, затем на больных, которые при появлении начальства начали двигаться тише, хотя никто не приказал им молчать.

— Эти люди больны.

— Это ясно по месту, где они лежат, — сдержанно откликнулся Аверин. — Мне нужны числа.

— Числа у Бермана в тетради, а люди на койках.

Начальник горных работ поморщился, поскольку всякая фраза, в которой ему напоминали о людях, казалась ему укором, а он считал укор пустой роскошью. Он достал лист с нарядом, разгладил его на краю стола, провёл пальцем по строкам.

— Участок просел на треть, забой стоит, промывка ждёт, управление требует золото, а золото не пойдёт из земли из-за того, что у ваших пациентов дёсны кровят.

Берман поднял голову от тетради, но Пуллериц остановил его взглядом. Врач не любил эту сторону своей работы, где разговор о смерти приходилось вести с людьми, у которых свои основания для страха, своя ответственность и свой начальник над головой; Аверин был груб, но грубость эта росла из той же машины, что и врачебные отчёты, поэтому ссора могла дать лишь бесполезный шум, а такие бараки быстро превращали шум в донос или выговор.

— Завтра к лёгким работам можно вывести шестерых, — произнёс Пуллериц немного погодя. — К складу, кухне, подвозу воды. К забою никого.

— Шестерых из сорока трёх?

— Из сорока одного. Двое умерли.

Аверин опустил глаза в наряд, вычеркнул что-то ногтем, затем кивнул так, как кивают неприятной задержке.

— Через три дня?

— Если отвар удержат и кровотечение снизится, до двадцати.

— Мне бы двадцать завтра.

— Завтра получите шестерых живыми или двадцать на два часа.

Эта фраза вышла у Пуллерица жёстче, чем он рассчитывал. Аверин вскинул взгляд; в бараке несколько больных повернули головы, и на секунду в помещении стало слышно лишь потрескивание поленьев, дыхание у печи и тонкое бульканье котла. Начальник работ медленно сложил листы, спрятал их в папку и сделал шаг к врачу.

— Вы думаете, я хочу их угробить?

— Я думаю, что вы хотите закрыть наряд.

— А вы хотите закрыть отчёт.

Пуллериц почувствовал, как у него напряглись пальцы на корешке тетради, и с усилием разжал ладонь. Аверин попал точно, так как отчёт действительно занимал место между врачом

и больными, между работами и планом, между мёртвыми и ведомостью, между всяким человеческим движением и тем языком, в котором оно превращалось в показатель.

— Я хочу, чтобы они пережили ночь, — выговорил он.

— Тогда напишите мне, кто после вашей ночи способен стоять.

Аверин развернулся и вышел, задев плечом дверной косяк. Холод с улицы вошёл в барак вместе с ним, прошёл по полу, поднял у печи несколько клочков золы и затих у дальних коек. Анисья снова взяла черпак, Берман склонился к тетради, больные начали кашлять, стонать, просить воды, и работа руками продолжилась, как всегда продолжалась после разговоров начальства.

Вечером Пуллериц сидел в маленькой комнате за перевязочной, где едва помещались стол, койка, полка с банками, ящик с инструментами и лампа под жестяным отражателем. На стене висела карта участков, испещрённая карандашными пометами; рядом на гвозде держались шинель, полотенце, сумка с ампулами камфары и письмо из Хабаровска, которое врач носил третий день, не раскрывая, ибо всякий раз, когда он брал его в руки, за стеной начинали звать, стонать или умирать. На столе стояли три банки стланикового настоя разной крепости, кусок хлеба, нож, термометр в треснувшем футляре, отчётные бланки и тетрадь Бермана, раскрытая на странице с утренними наблюдениями.

Он писал медленно, выбирая слова с той же осторожностью, с какой хирург выбирает место разреза: «Массовые явления цинги среди контингента объясняются недостатком свежих продуктов, истощением, климатическими условиями и перегрузкой работами. Приняты меры: организация сбора кедрового стланика, приготовление хвойного настоя, выдача больным малыми порциями, наблюдение за удержанием жидкости и восстановлением способности к передвижению».

Перо остановилось над последней строкой. «Способность к передвижению» была правдивой формулировкой врача, но для управления требовался иной итог, счётный, полезный, привязанный к наряду. Пуллериц некоторое время смотрел на написанное, чувствуя то глухое отвращение к собственным пальцам, которое возникает, когда человек сам переводит чужую боль на язык, удобный для начальства; затем зачеркнул два слова и вывел ниже: «восстановлением работоспособности».

За перегородкой Анисья уговаривала кого-то пить, Берман кашлял у печи, санитар ругался вполголоса из-за лопнувшей кружки, а с улицы доносился скрип полозьев. Врач закрыл глаза на несколько секунд, но вместо отдыха увидел утренний ряд коек, лицо Антона, шапку старого Мэргэ у дверей и руку Аверина, проводящую по наряду. Он понимал, что завтра, если шестеро действительно встанут, участок примет это как доказательство правильности лечения, а если упадут к вечеру, виноватым окажется слабый организм, поздний завоз, плохая дисциплина, погода, врач, санитар, сам больной, всякий, кроме той простой потребности, ради которой человека в этом краю держали на ногах.

Ночью умер Антон, фамилию которого так и не уточнили. Санитар нашёл его перед четвёртым обходом: голова съехала на сторону, рот был раскрыт, на подбородке застыла тёмная полоса, а пальцы правой руки сжимали край тюфяка, словно он пытался удержаться за собственное место. Бирку сняли, номер внесли в журнал, койку протёрли горячей водой, и на освободившееся место переложили человека с пола, старика с бельмом на левом глазу, который ещё вечером сумел удержать две кружки настоя и теперь смотрел на печь с недоверчивой благодарностью.

— Пить будешь, дед? — спросила Анисья, подавая ему жестянку.

— Буду, — прошептал он. — Раз дали.

— Имя?

Старик моргнул, собирая ответ.

— Филипп.

Анисья повернулась к тетради.

— Пиши, Лев Моисеевич. Филипп. Без фамилии пока.

Берман записал, а Пуллериц, стоявший в дверях комнаты, почему-то запомнил этот момент сильнее самой смерти Антона: чужой человек занял чужую койку, получил чужое тепло, чужую кружку, строку без фамилии и шанс подняться к утру, который здесь сразу попал в наряд.

К рассвету мороз усилился, и на стекле проступили плотные белые перья, заслоняя барак от бухты, складов и дороги. Пуллериц сделал обход до развода. Несколько больных сидели на койках, двое стояли у печи, Филипп с бельмом на глазу держался за стойку двери и дышал часто, но держался; у забойщика с пятой койки кровотечение ослабло, у женщины из кухонной команды появился голос, молодой парень с обмороженными пальцами попросил хлеба и впервые за сутки выругался достаточно крепко, чтобы Анисья удовлетворённо перекрестилась за его спиной.

Берман ставил в тетради отметки: «удержал», «сел», «встал с поддержкой», «температура ниже», «может идти». Каждая такая запись радовала врача и одновременно приносила тяжесть, так как за дверью уже ждал нарядчик, низенький щербатый мужчина в армейском полушубке, ватных брюках и шапке с порванным ухом, прижимавший к груди лист так, как бедняк прижимает хлеб. Он заглянул в барак, снял рукавицы, потёр ладони, увидел стоящих у печи и сразу оживился.

— Этих брать? — обратился он к Пуллерицу.

— К складу и кухне. Без забоя. Без пилы. Под наблюдением.

— Бумагу дадите?

Пуллериц взял карандаш, написал на листе: «Временно ограничить тяжёлые работы. Санотдел», поставил подпись, дату и прижал бумагу ладонью, пока графит не перестал осыпаться. Нарядчик перечитал, шевельнул губами, остался недоволен ограничением, но спорить при врачебной подписи не решился.

— Выходите, кто может, — распорядился он, повернувшись к больным.

Филипп шагнул первым, хотя его качнуло уже у порога. Анисья успела подать ему рукавицы, поправила ворот полушубка, задержала руку у его плеча дольше положенного, затем убрала, так как конвойный у двери смотрел внимательно. За Филиппом вышли ещё пятеро: двое держались друг за друга, один шёл с плохо слушающимися коленями, другой закрывал рот ладонью, скрывая кровь на десне, последний нёс кружку с остатком настоя и пил на ходу маленькими глотками.

На дворе светало. Над сопками поднималась бледная полоса, у кухни уже стояла очередь с котелками, конвойные проверяли шеренгу, сани у склада принимали мешки, а у ворот больничного барака шесть человек, спасённых от цинги на одну ночь, встали в общий порядок лагерного утра. Пуллериц наблюдал за ними из окна перевязочной, не прикасаясь к занавеске, и лицо его казалось Берману очень старым в этом синем рассветном свете.

— Записать? — спросил фельдшер, стоя рядом с тетрадью.

— Запишите, — ответил врач.

— Как?

Пуллериц посмотрел на котёл, на зелёную плёнку по краю кружек, на дверь, через которую вынесли Антона и вывели Филиппа, затем произнёс фразу, уже пригодную для отчёта, наряда и памяти, хотя сам врач внутренне отвергал её сильнее бумаги:

— После отвара держатся на ногах.

Берман вывел эти слова в графе наблюдений, и в тот день кедровый стланик впервые вошёл в санитарную отчётность как средство против цинги, а люди, удержавшие его в желудке, — в наряд как пригодные к труду.

Глава 1. Завоз

Ведомость северного завоза № 41/С

Мука ржаная — 18 т.

Крупа овсяная — 6 т.

Соль — 2 т.

Керосин — 40 бочек.

Ватники — 300 шт.

Рукавицы брезентовые — 480 пар.

Бинт марлевый — 72 рулона.

Спирт медицинский — 8 бут.

Ампулы без маркировки — 3 ящика.

Бланки актов формы С-12 — 400 экз.

Мешки для вещественных доказательств — 12 шт.

Контингент этапный — 212 чел.

Примечание: груз сверх описи к приёмке не допускать.

В сентябрьском Магадане зима угадывалась заранее: в жёстком свете над бухтой Нагаева, в каменной синеве воды, в пепельных сопках за причалами, в том, как люди на улице держали плечи и берегли ладони, хотя календарь ещё позволял начальству писать в бумагах слово «осень». У порта разгружали пароход, и весь береговой склон, от складских ворот до конторы управления, был наполнен движением, которое на Колыме заменяло обычную городскую жизнь: кран тянул из трюма ящики, грузчики в ватниках шли по настилу под крик бригадира, конвой у пересыльного двора пересчитывал этап, у кухни дымила труба, у ворот стояла очередь саней и грузовиков с промёрзшими бортами, а над всем этим, над угольной пылью, солёным воздухом и печным дымом, висел резкий скрип троса, когда лебёдка брала очередной груз.

Капитан МГБ Александр Матвеевич Корешов стоял у окна второго этажа и смотрел вниз с тем выражением сосредоточенной усталости, которое за годы войны и службы стало у него частью лица. Ему шёл тридцать восьмой год; в висках уже держалась ранняя седина, левая скула после контузии сидела тяжелее правой, из-за чего лицо на миг казалось перекошенным, когда он молчал дольше обычного. На нём была тёмная суконная шинель с петлицами органов, подпоясанная ремнём, под шинелью — гимнастёрка с туго застёгнутым воротом, на сапогах оставалась серая соль дорожной грязи, а фуражку он держал под локтем, бережно, привычно, как держат вещь, к которой давно перестали относиться как к украшению. Корешов умел выглядеть спокойным; за этим стояло не равнодушие, а выученная на фронте экономия движений, так как человек, который вздрагивает при каждом окрике, долго не живёт в окопе и плохо служит в ведомстве.

Приёмная подполковника Вершинина была тесной, заставленной стульями с отполированными от шинелей спинками, картонными коробками, папками в серой обёрточной бумаге и ящиком с машинописными лентами. За столом сидела секретарь, высокая темноволосая женщина в тёмной шерстяной юбке, гимнастёрке без погон и грубой вязаной кофте с вытянутыми локтями; у неё были сухие пальцы человека, который целыми днями снимает копии, сортирует распоряжения, принимает пакеты под расписку и знает цену каждой лишней фразе, сказанной в коридоре управления. Она печатала быстро, с лёгкой злостью к клавишам, затем сняла лист, провела ногтем по строке, нашла опечатку и, даже не подняв головы, произнесла:

— К подполковнику пройдёте, капитан.

У двери возник адъютант, узкоплечий старший сержант в выгоревшей гимнастёрке, с широким ремнём, висевшим на нём чрезмерно тяжело; он пах махоркой и морозом, принесённым с лестницы, и смотрел на Корешова с той служебной осторожностью, которая появляется у молодых при кабинетах, где любой взгляд может оказаться замеченным.

— Вас ждут, — отозвался он, придерживая дверь ладонью в кожаной перчатке без подкладки.

Кабинет Вершинина был больше приёмной, но уют в нём отсутствовал настолько последовательно, что это уже походило на характер хозяина: большой стол, закрытый папками и телефонными аппаратами, железная печь с приоткрытой дверцей, карта северо-восточных лагерей на стене, доска с мелом, портреты, тяжёлый сейф в углу и две лампы под зелёными абажурами, дававшие свет, от которого человеческие лица становились старше. Сам Вершинин сидел в тёмном френче с погонами подполковника, широким ремнём и португеей, сапоги у него были вычищены до тусклого блеска, а короткие пальцы лежали на столе так, словно могли придавить бумагу, собеседника и саму возможность возражения. Лицо у Вершинина было крупное, с тяжёлым подбородком и умными, утомлёнными глазами; в таких глазах Корешов давно научился читать главное — начальник видел больше, чем произносил, и считал это преимуществом.

— Развилку знаете? — начал Вершинин, когда Корешов сел на край стула, оставив фуражку на коленях.

— Лагпункт Берлага, Тенкинское направление, — ответил капитан.

— По документам — лагпункт, по сути — тяжёлый прииск с особым контингентом; политические, каторжные, уголовная примесь для хозяйственных нужд, санчасть, своя оперработка, повышенная смертность, а сейчас ещё и передача по новой структуре, из-за которой все бумаги ходят быстрее людей.

Он говорил размеренно, без нажима, но Корешов слышал за этим темпом кабинетную привычку заранее выбирать нужный коридор для чужого вывода. Подполковник взял с края стола тонкую папку, обложка которой была затёрта на сгибе, подвинул её к капитану и задержал ладонь сверху.

— Ночью на Развилке обнаружены девять отделённых голов заключённых. Периметр внутренней зоны. Лицами к баракам.

Корешов посмотрел на папку, на красную помету «срочно», на гладкую рамку штампа, втиснутую в верхний угол обложки, и ощутил то внутреннее сжатие, которое появлялось у него перед всяким делом, где мёртвые уже успели стать служебными единицами, а живые — возможными помехами.

— Тела? — уточнил он.

— На месте разберётесь.

— Побег?

— Нет оснований.

— Бунт?

Вершинин слегка скривил губы, поскольку слово было громким и требовало других телеграмм.

— Предварительная линия имеется: уголовная расправа на почве сучьей войны; воры старой линии против ссученных, демонстративное устрашение, внутренний конфликт, для Развилки версия удобная, а для управления достаточная.

Капитан открыл папку. Верхним лежал машинописный лист с широкими полями, и внизу, под текстом, оставалось пустое место, рассчитанное под подпись исполнителя. Он прочёл первые строки, где всё уже произошло без него: «По факту обнаружения отделённых голов з/к на Развилкинском лагпункте установить наличие внутренней расправы уголовного элемента...»

От этой заготовленной аккуратности ему стало неприятно. Следовательно в таких бумагах требовался не как человек с глазами, памятью, опытом и правом сомневаться, а как рука, которую привезут к столу, подведут к нужной строке и заставят завершить начатое.

— Погибшие установлены? — поинтересовался он.

— Списки получите у старшего лейтенанта Гречина, местного опера; он держит участок жёстко, знает бараки, знает уголовников, знает, кто с кем ел, дрался и делил передачу.

— Почему дело закрывает не он?

Вершинин снял очки, протёр стекло краем платка и вернул на переносицу с медлительностью человека, которому не нравится точность вопроса.

— Девять голов у периметра требуют подписи извне, капитан; внутренняя подпись будет выглядеть хозяйственным самооправданием.

За окном кран опустил ящик на настил, доски отозвались глухим ударом, внизу крикнули, затем загрохотала тележка, и на несколько секунд разговор в кабинете оказался соединён с портом, с завозом, с тем огромным движением материи и людей, ради которого на Севере терпели всё.

— Срок? — спросил Корешов.

— Быстро. По линии Дальстроя идёт перестройка управления, отдельные участки сворачиваются, часть дел передают, часть контингента распределяют, и если Развилку законсервируют к концу месяца, показания станут географией.

— Свидетелей развезут.

— Свидетели дают показания, пока стоят в одном бараке, а после отправки они дают норму там, куда их поставили, — сухим служебным голосом отозвался Вершинин, не стараясь смягчить смысл.

Корешов заметил, что подполковник нарочно произнёс эту фразу без цинизма; здесь грубость мешала бы, а спокойствие делало любую вещь законной.

— Санчасть смотреть? — спросил капитан.

Вершинин поднял глаза.

— При чём здесь санчасть?

— Отделённые головы требуют инструмента и навыка.

— Уголовники на Кольме режут людей всем, что попадёт под руку, от ножа до пилы.

— Пила оставляет свой след.

Подполковник сдвинул папку ближе к Корешову.

— Вас направляют из-за аккуратности, а не из-за любви к побочным версиям; оформите уголовную линию, проверьте минимум, поговорите с Гречиным, с блатными, с начальником лагпункта, соберите то, что подтвердит вывод, и возвращайтесь с актом, который можно положить в дело без лишних вопросов.

В этом кабинете было тепло, но у Корешова на затылке выступило холодное ощущение, знакомое с передовой, где командир уже выбрал решение, карта уже получила стрелку, а человек с биноклем ещё видел в леске пулемёт, мешавший всей красивой схеме. Он опустил взгляд на машинописный лист, на пустое место под своей фамилией, и понял, что это место оставлено не внизу документа, а заранее внутри него самого.

— Фотографии? — уточнил он.

— У Гречина. Часть снимков отправили через посёлок, пакет передадут на складе завоза; связь рвётся, радиogramмы идут кусками, а водитель с грузом надёжнее провода.

Вершинин подписал командировочное предписание, приложил печать, подождал, пока чернила подсохнут, затем протянул лист капитану.

— И последнее: особый лагерь требует осторожности, поэтому с заключёнными без оперчасти не углубляйтесь, Гречина слушайте, в санчасть по надобности загляните, а в отчёте берегите формулировки.

Корешов поднялся, забрал фуражку, спрятал предписание в полевую сумку и на миг задержался у стола, чувствуя, что обязан произнести что-нибудь нейтральное, служебное, годное для этого кабинета.

— Разрешите идти.

— Работайте, — коротко распорядился Вершинин и уже потянулся к другой папке, где, вероятно, лежали чужие фамилии, чужие участки, чужой холод.

В коридоре Корешов надел фуражку и прошёл мимо лавки, где двое конвойных в кирзовых сапогах сторожили опечатанный ящик; один ел хлеб мелкими укусами, щадя воспалённую десну, другой держал винтовку между колен и смотрел перед собой с таким выражением, какое бывает у людей, прошедших ночь у двери, куда всё время стучат. Секретарь за машинкой уже печатала новый лист, и быстрый сухой стук клавиш проводил капитана до лестницы.

Во дворе управления стоял ЗИС с брезентовым верхом и перебинтованной проволокой фарой. Водитель ждал у капота, курил, согнувшись от ветра, и грел руки над мотором, от которого шёл тяжёлый бензиновый дух. Это был Семён Сапрыкин, жилистый мужчина лет сорока в вытертой телогрейке, ватных брюках, кирзовых сапогах и старой ушанке с разными завязками; лицо у него было тёмное, обветренное, с мелкими морщинами у глаз, а рот имел угрюмую складку человека, который давно привык разговаривать с дорогой чаще, чем с людьми.

— До склада завоза, товарищ капитан? — спросил он, бросив папиросу в снег и затоптав её каблуком.

— До склада, затем к аэродрому.

— Значит, с грузом пойдём, если борт дадут, а если погода встанет, двинем машиной до посёлка.

Он открыл дверцу, смахнул с сиденья гаечный ключ, моток проволоки и рукавицы, после чего Корешов сел в кабину, где пахло железом, бензином, табаком и старым брезентом. Машина тронулась, спустилась от управления к портовой улице и вошла в поток завоза, где груз, люди и приказы двигались рядом, разными скоростями, к одной и той же северной работе.

Магадан за окнами шёл деревянными фасадами, тёмными заборами, складскими воротами, столовыми с очередью у крыльца, конторами с вывесками и бараками, возле которых женщины в ватных кофтах вытряхивали половики. Город строился так, как здесь строили всё: с торопливой основательностью, когда доска ещё пахнет смолой, а на пороге уже стоит очередь за справками, хлебом, углём, пропуском, отправкой или ответом по делу. Возле столба связи мальчишка в огромной ушанке держал за верёвку козу; мимо прошёл солдат с мешком почты; у хлебной лавки женщина прижала к груди две буханки, словно несла не еду, а право дожить до вечерней печи.

Сапрыкин вёл молча, только изредка шевелил губами, когда мотор начинал захлёбываться на подъёме. Корешов смотрел на город и думал о том, что Магадан всегда производил на него странное впечатление: он был слишком молод для усталости, которой уже успел пропитаться каждый его двор. Здесь у зданий ведомства стены выглядели прочнее жилья, и это тоже казалось частью порядка.

У складов завоза стоял грохот, от которого разговоры превращались в отдельные выкрики. Бочки катили по доскам, ящики с медикаментами переносили в крытый кузов, мешки с крупой укладывали штабелем, лошадей держали за уздцы у саней, а за высоким забором пересыльного двора этапных выстроили в две линии. Заключённые стояли в ватниках, бушлатах, армейских обносах, стёганных штанах, валенках с обмотками, в шапках разного вида, выданных без оглядки на размер и сезон; на лицах у многих держалось выражение осторожного отсутствия, когда человек бережёт силы даже для того, чтобы смотреть.

К Корешову подошёл старший лейтенант Лебедев из оперативного отдела управления, мужчина с узкими губами, прямой спиной и тёмными глазами, которые быстро останавливались на чужих руках. На нём была тёплая бекеша с каракулевым воротником, офицерская гим-

настёрка под ней сидела туго, сапоги из хромовой кожи были заправлены в плотные галифе, а на ремне висела планшетка с потёртым клапаном. Он вынул из-за борта бекеша плотный конверт, обвязанный суровой ниткой, и подал капитану так, чтобы никто из грузчиков не увидел печати.

— Пакет с Развилки. Ночным бортом до посёлка, оттуда машиной до города. Распишитесь.

Корешов поставил подпись в журнале, где страницы шли одна за другой, как вереница чужих поручений, и конверт лёг ему в руку с тяжестью снимков, которые он ещё не видел.

— Открывать здесь? — уточнил он.

— В пути спокойнее, — ответил Лебедев, взглянув на этап. — Гречин просит начать с уголовников и держать линию сучьей войны, так как участок на взводе, а всякая лишняя версия там даст шум.

— Гречин просит?

У Лебедева в уголке рта появилась сухая складка.

— На Развилке его просьба обычно звучит как приказ.

У ворот пересыльного двора в это время один из заключённых качнулся и сел на землю, опустив голову на грудь так медленно, что сперва его движение приняли за попытку поправить обмотку. Конвоир с винтовкой шагнул к нему, крикнул, но человек лишь поднял лицо, из которого ушла всякая краска, и попробовал ухватиться за воздух. Лейтенант конвоя, молодой, с красными скулами, в шинели с туго перетянутым ремнём, подошёл, раздражённо раскрыл список и ткнул карандашом в строку.

— Номер?

— Сто семнадцать, — отозвался часовой.

— На санпункт?

Часовой посмотрел в сторону склада, где уже грузили бортовые ящики, и промолчал с такой выразительностью, что ответ стал понятен.

— В хвост партии, — решил лейтенант, проведя карандашом по ведомости. — До посёлка довезёте.

Двое заключённых подняли упавшего под руки, поставили его у задней линии, где держали слабых, и тот стоял с закрытыми глазами, пока вокруг него продолжалась работа завоза: считали мешки, перекликали фамилии, сдвигали ящики, проставляли отметки. Корешов смотрел не столько на самого больного, сколько на карандаш в руке лейтенанта, так как один короткий знак в ведомости менял человеку дорогу, пайку, место в кузове, шанс попасть к фельдшеру, а при плохом исходе — строку в акте.

— Люди с материка приходят плохие, — негромко заметил Лебедев, перехватив его взгляд. — Север добирает своё уже на сходе.

Корешов спрятал конверт во внутренний карман шинели; печать упёрлась в грудь твёрдым кружком, и это прикосновение раздражало его до самой посадки в машину.

К аэродрому выехали после полудня, когда свет над бухтой стал плоским, а сопки потемнели у основания. В кузове вместе с грузом разместились двое связных, фельдшер с лекарственным ящиком, четыре конвоира и несколько мешков с крупой, которые переложили поверх ампул, ибо кладовщик уверял, что иначе ящики разобьёт на ухабах. Сапрыкин слушал мотор, менял передачу раньше подъёмов, держал руль ладонями в старых брезентовых рукавицах и разговаривал с машиной под нос, как с упрямой лошадьёю.

За городом дорога пошла между сопками, в сторону аэродромной площадки и дальней трассы. Земля была прихвачена ночным холодом, низкий кустарник темнел у кюветов, листовенницы стояли редкими полосами, а на поворотах попадались кресты без табличек, старые банки, обломки полозьев, ржавый котелок, присыпанный сухой крупой снега. Здесь всякая

вещь, брошенная у дороги, имела вид короткого свидетельства: кто-то шёл, вёз, падал, чинил, мёрз, ждал, а затем исчез из кадра, оставив металлу и дереву право лежать дольше человека.

— На Развилку ездили? — спросил Корешов, когда Магадан скрылся за складкой сопок.

— Два раза, — ответил Сапрыкин. — Летом возил муку и стекло, перед этим — железо, соль, двоих в санчасть.

— Дорога?

— До посёлка терпимая, дальше река, мост, старый подъём, и каждый поворот со своим характером.

— Люди там какие?

Сапрыкин глянул на него сбоку, оценил вопрос, затем вернул взгляд к дороге.

— Тихие. В обычной зоне с утра шум стоит: ругань, кашель, пилорама, конвой орёт, кто-то с кем-то делит пайку. На Развилке говорят мало, даже когда надо. Опер у них крепкий, Гречин, а врач... фамилию забыл, в очках, худой, руки белые, как у аптекаря.

— Двинятин.

— Может, Двинятин. У него санитары бегают без лишних вопросов, начальство к нему заходит аккуратно, зэки на медосмотр идут, как на доклад.

— Почему?

Водитель медленно вывернул руль, чтобы обойти выбоину, и лишь на прямом участке продолжил:

— Не знаю. Там у каждого свой страх, товарищ капитан. Один боится блатного, другой оперчасти, третий врача, четвёртый — что утром встанет, а ноги не послушают. На Развилке последний страх главный.

Корешов открыл папку Вершинина и стал читать справку, придерживая лист большим пальцем, чтобы бумага не билась от тряски. Развилка была описана языком, который умел прятать человеческое содержание за хозяйственными словами: численность, состав контингента, режим, добыча, смертность, наличие санчасти, барак ослабленных, случаи нарушения дисциплины, влияние уголовного элемента. Внизу синим карандашом была подчёркнута строка: «обострение отношений между ворами старой линии и ссученным элементом».

Формулировка была достаточно широкой для любого удобного вывода. В ней можно было утопить драку, убийство, исчезновение, донос, месть и девять голов у периметра, если у человека не хватало желания смотреть на снег.

На развилке дорог у старого карьера Сапрыкин остановил машину, вышел проверить крепление груза, и ветер сразу ворвался в кабину через приоткрытую дверцу. В кузове зашевелились конвоиры, кто-то выругался, фельдшер прикрыл лекарственный ящик брезентом. Корешов остался на сиденье, вынул конверт Лебедева, сломал сургуч ногтем и аккуратно размотал нитку.

Внутри лежали шесть фотографий, краткая справка Гречина и записка на половине листа. Почерк у местного опера был крупный, самоуверенный, с сильным нажимом, от которого перо местами рвало бумажное волокно:

«Капитану Корешову. Материал по происшествию направляю. Картина указывает на уголовную расправу. По прибытии прошу начать с барака ссученных и держать линию без расширения. Медчасть в деле не участвует. Ст. л-т Гречин».

Последняя строка была подчёркнута дважды.

Корешов отложил записку и взял первый снимок.

Фотограф снимал утром, при косом свете, когда тени от столбов ложатся длинно, а снег даёт глазу больше белого, чем нужно для понимания. В кадр вошла часть внутреннего периметра: столбы, проволока, вышка, край барака в глубине, пустой проход между санчастью и кухней, где к вечеру должны были строить людей. На переднем плане, через одинаковые промежутки, стояли девять тёмных предметов, которые разум в первую секунду отказывался назы-

вать головами, так как рядом отсутствовали тела, кровь, следы борьбы и всякий человеческий беспорядок, обычно сопровождающий смерть.

Он поднёс снимок ближе к стеклу.

Головы были обращены к зоне.

Лица различались плохо: мороз стянул кожу, волосы прихватило к вискам, глазницы лежали в тени, у одной головы рот был раскрыт, у другой подбородок ушёл в снег, третья стояла выше остальных, как если бы под неё подложили комок льда. Расстановка казалась слишком продуманной для ярости и слишком молчаливой для обычного устрашения; в ней была не вспышка насилия, а порядок, придуманный человеком, которому требовалось, чтобы утром это увидели все.

На обороте значилось: «Развилка. Объекты 1–9. Общий вид».

Второй снимок был крупнее. На нём виднелись шеи, края разорванных тканей, застывшие складки воротников, тёмная полоса у основания. Гречин подписал: «Характер повреждений типичен для рубящего орудия». Корешов нахмурился, провёл взглядом по линии отделения у трёх голов и почувствовал уже не служебную досаду, а ту профессиональную настороженность, которая приходит раньше мысли: рубящее орудие оставляет грубую правду удара, а здесь в нескольких местах угадывался навык, последовательность, повторение движения, связанного с телом как с материалом, а не с врагом.

Третий снимок был сделан с вышки. С высоты девять лиц выглядели чёрными отметками на белом поле, расставленными по дуге перед бараками. Внизу угадывались утопанные дорожки зоны, крыльцо санчасти, поленница у кухни, караульная тропа у проволоки. Снимок должен был помогать следствию, но производил обратное действие: чем больше пространства входило в кадр, тем сильнее становилось ощущение, что самая важная часть картины осталась за пределами видимого.

Сапрыкин вернулся, захлопнул дверцу и стряхнул снег с рукавицы.

— Держится груз. Едем?

Корешов не сразу поднял голову; он смотрел на нижний край фотографии, где у дуги голов белело пространство, свободное от цепочек ног, волочения, полозьев и случайных срывов наста.

— Едем, — ответил он, вкладывая снимки в конверт, но первый оставляя на коленях.

Машина дёрнулась, вышла с развилки на левую дорогу и стала подниматься к аэродромной площадке. За задним стеклом карьер, складки сопки и дорожный столб растворились в сухой снежной крупе, а в кабине загремели ключи, подпрыгнул лекарственный ящик за стенкой кузова, и капитан Корешов ещё до встречи с Развилкой понимал, что готовая версия Вершинина рухнет от первого взгляда на снимок.

На фотографии отсутствовали следы; оставались лица, обращённые внутрь, к баракам, к окнам и к тем людям, которым утром предстояло пройти мимо них по команде.

Глава 2. Чистый снег

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.